

Игоря Павловича Обросова, вероятно, представлять не надо. Народный художник России, замечательный живописец, один из основоположников сурового реализма шестидесятых годов. Но мало кто его знает как одаренного литератора, автора многочисленных повестей, рассказов, новелл-воспоминаний и даже пьес. Обросов много раз выступал на страницах центральной прессы со своими публикациями. Сейчас, собрав воедино, систематизировав их и переработав с позиций жизненного и творческого опыта, он подготовил книгу к печати. Книгу, которая ждет своего умного и чуткого издателя, который в свою очередь соединит мысль художника-литератора с читателем, ищущим в каждой новой публикации новых для себя открытий таланта сердца и таланта души. Представляем на ваш суд отрывки из его воспоминаний разных лет.

Виталий ГОРЯЕВ

Это был большой, ладно сработанный с породой человек. Чем-то он был сродни Эрнсту Хемингуэю — такой же суровый, сдержанный. Природа щедро была к Горыеву к таланту художника и своеобразию философа. А уж умом был крепко. Было в нем что-то из древнегреческого философа-мыслителя, но и крестьянского мужика-интеллигента. Ему равно бы пошли и того, и деревенское крестьянское рубище.

С лукавым прищуром глаз, асных, светлых, заголубевших, с удачно спеленным скульптурным, объемным носом, как говорят в простонародье, карточкой. Получив щедро от природы, он был щедр к людям, особенно к нам, молодым тогда шестидесятиникам. Для меня и моих друзей таким духовным отцом был художник Виталий Николаевич Горыев. Ныне известный художник Илларион Голицын писал в каталоге одной из последних выставок Горыева: «Виталий Николаевич Горыев по-настоящему человеческому характеру можно назвать соединителем поколений».

Как-то Виталий Николаевич был приглашен молодежной организацией МОСХа на творческий симпозиум в Пахре на встречу с молодыми художниками, писателями, актерами, композиторами. В 60-е годы такие встречи творческой молодежи были нередки. С мо-

толпы, пошел по рядам, хамки матерясь, и, увидя поднимающегося на него Твардовского, пошел на нас. Обычная матерщина да еще что-то вроде «интеллигент да еще в шляпе». «Ты, в шляпе — обрелся ты на Твардовскому». Я помню хорошо, что Саша назвал верзилу пацаном и призвал его к порядку. Видно, это «пацан» обидело больше всего наглое «малышечка». Поравнявшись с нами, он по-хамски провел ладонью с пренебрежением по лицу Твардовского, дернул шляпу и выкинул в открытое окно. Нас было двое, правда, нам было уже за пятьдесят, к шестидесяти. В таких ситуациях редко действующий по рассудку, больше срабатывают у меня эмоции да еще инстинкт, рефлекс юности, борца-вольника, хотя и не та реакция, сработал почти автоматический. Двойным неловким я прихватил парня со спины, не прошло и секунды, как мы звалили «молодца», накрепко прижав его к полу. Все же во мне уже тогда было даво, правда, нам было уже за пятьдесят, к шестидесяти. Саша давно перевалило за 100. Пацан блажит, девицы выются змейками вокруг, вагон весь возле нас. И ведь черт-те что... Соображаю: и положение дурацкое у нас с Сашей, ну, думаю, заваляли его, но ведь хлестать его по мордам лежачего не будешь. Вот положение... Что же дальше? Нашелся в этой прегрешившей ситуации Твардовский... «Витя, снимай с него штаны, да

Первопроходцем в те же 60-е годы в изобразительном искусстве, основателем того самого сурового стиля явился и среди товарищей Павел Никонов. Нельзя не упомянуть с ним тогда в ряд молодых художников: В. Попкова, А. Андреева, братьев Скопинных и других. Правда жизни — вот что такое суровый стиль, а за правду жизни, или, как тогда говорил Александр Твардовский, правду фактов, в то время наказывали и жестоко. Отсюда и гонения, которые нынешним художникам и не понять. Ныне все дозволено — свобода и творцу, и коммерсанту, и вору, и мафии.

Вот этой правде в жизни остался верен в своем творчестве в картинах художник П. Никонов. Об этом его повествование в изобразительных формах последних 10 лет. Русская деревня. Много-страдальное российское малоземелье, ступившим от многолетнего беспредела, потерявшим веру в землю-кормилицу и вблизи проживающего соседа-земледела. Последние годы подолгу проживает Павел в деревне на Волге близ Калазина, Алексина. Отсюда эти мужички старые, надрытые несущие непосильную ношу русские женщины. Дома, сараи, избы, столбы, облака повальные, обшарпанные заборами, изгородями. Все, похороны, пожары. Это все не придумано. Это — Россия, это все, как у Федора Тютчева.

Эти бедные селенья,
Эта скучная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

Пожар в деревне страшен. Это крайняя беда. Огонь пожирает все вокруг на глаза, на взоре оторопелого мужичка-старичка, старухи, ведь это в основном жители заброшенных российских деревень, старые женщины, старики и дети малые. Вот так и спас их художник однажды, когда пришла беда в деревне Алексин. Пожар. Незадолго до этого уговорил деревенских Павел пруд вырыть посреди деревни. Уговорить-то уговорил, а как вырыл, наняв бульдозери-



20

БЕРЕГИТЕ БЕЛУЮ ПТИЦУ

Фрагменты из автобиографической книги художника Игоря Обросова



лодыми встречались старички, и нам, молодым художникам, было лестно пригласить Виталия Николаевича в гости, показать его «миру» с гордостью. По дороге в машине я поделился с Виталием Николаевичем впечатлением о накануне просмотренной мною страшной кинокартине, американском «Инциденте». Суть его — происшествие в чикагском метро: поздно вечером два хулигана-садома в полупустом вагоне метро издеваются, терроризируют запоздалых пассажиров. Фильм страшный, тяжелый, по тем временам редкий. Виталий Николаевич внимательно слушал, сопереживал, потом как-то неожиданно сказал: «А вот послушай, Игорь, вот так же, как в этом фильме, возвращались мы с Сашей Твардовским поздней электричкой на дачу. В вагоне было полупусто, полупусто, хотя для этого времени, можно сказать, народу порядочно. Ровно постукивали колеса на стыках рельс, пассажиры в полудремоте, кое-как прижавшись к спинкам сидений, посапывали. Да и мы с Сашей, утомленные за день московской беднейшей и суетой, больше молчали, изредка перебиваясь односложными фразами. И совсем как в этом фильме, неожиданно в вагон ввалился подвыпивший верзила, здоровенный парень с двумя пьяными девицами. Развязно матерясь, они прошли по вагону и, бесцеремонно столкнув пожилых старичка со старухой со сплывшими «брысь отсюда» — завалились с того, что на скамейку. В вагоне уже никто не спал, не дремал... Кое-кто просто поднялся и пошел в другой вагон. Старушка было стала протестовать, но парень просто переталкивал ее в другой отсек со словами «отвали!» Вагон безмолствовал, отдельные пассажиры еще ниже опустили головы. Я обратил внимание, как реагировал Твардовский. Он, видимо, вздремнул и, придя в себя ото сна, не сразу сообразил, что происходит. Нагнетая, почувствовал смирение

с исподним». Пацан сопротивлялся, брыкался, однако все же штаны я с него стянул. Опять соображаю, что же дальше... И тут Твардовский мне подсказывает: «Витя, бросай порти в окно». Я мгновенно поднялся и выбросил штаны в открытое окно, туда, вслед за шляпой, и вновь попридавал парнишку. Однако Саша уже поднимался, приговаривая: «А теперь, Витя, пускай его, беспартийного». Вагон покатывался со смеху, закатывалась старушка, ехидничкой ей вторил старичок, а пацан, прикрываясь мужские достоинства, выскочил с девицами в тамбур, грозясь и матерясь. Благо, шли электрички со всеми остановками, и при ближайшей возможности компания дружно ретировалась. Еще какое-то время в вагоне стояла атмосфера возбуждения, потом все поухитило, опустилось в дорожную дрему, в полудремоту поздних электричек Подмосковья».

Виталий Николаевич был необычайно интересным рассказчиком. Его маленькие устные новеллы, как, например, посещение Флоренции, работа над рисунками к «Идиоту» Достоевского и «Портрету» Гоголя, были восхитительны и образны.

В среде художников Виталий Николаевич был авторитет. Не дутый, временный, сиоиминутный, а настоящий, творческий. Я знаю, что один крупный академик советовал: «Вот, Витя, у меня все знания — академик, и народный СССР, и лауреат Ленинской премии. А уважат и любят — тебя». Так оно и было...

Павел НИКОНОВ

Чтобы понять, познать жизнь геологов, подать их не из вторых рук, не один месяц бродил Никонов в Саянах с геологами в экспедиции. Черно-рабочим. Чернелул горестей и бед поисковой партии, понал смисл и выживания маленького народа тафларов, неземных надежных техников про-водников-первопроходцев.

ста, расплачиваться пришлось одному. Мол, нам-то вроде ни к чему. Правда, А. как по-жар — бросился к пруду, можно ли пользоваться, Пал Федорович. Какой разговор!

С тех пор пруд-то название имеет Никоновский. Вот те и российский народ.

Скуп да невежествен до непопности.

СУРОК ВСЕГДА СО МНОЙ...

Мальчик продавал цветы. С десяток иссиние-голубых васильков, перевязанных в нескольких местах белой ниточкой. Шла война. А мальчик продавал цветы в вечерних сумерках типового города, у кинотеатра, на площади, где по вечерам, после работы, толпились народ. Мальчик продавал не роскошные, мажорные георгины «Баттерфляй», не благоухающие пионы «Ожуха», а обыкновенные васильки, набранные им и его мамой в поле за городом. Шла война, каждый день приходил трезвинок, гости с фронта, в подол купали цветы. Одежда в военное, а штатские, молодые и пожилые мужчины и женщины покупали цветы. Крошечные иссиние-голубые лепестки, цветки — единственное, что напоминало о той недавно близкой, а теперь такой далекой мирной жизни. Второй год шла война. В городе не было света, плохо было с едой и хлебом, а по ночам пугали и поднимали на ноги народ тревожной завывающей фабричной сирены. «Граждане, воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога!».

Мальчик был худ, бледен, белоголов, лет тринадцати, одетый в поношенную вельветовую курточку и такие же вельветовые короткие штанишки, едва прикрывавшие колена. Своим видом он несколько не напоминал местных уличных мальчишек, шнырявших в вечерней толпе, шумных, крикливых, торговавших папиросами, хлебными, тапками, табачком марки «Феликс-Вай». Не было в его разговоре и той развязности, напора опытного торговца, способного уговорить покупателя. Но люди охотно брали цветы. Военный капитан покупал папирсы, девушка с ним удивленно сказала: «Смотри, Юра, васильки! Какие чудные! Давай купи!».

Старушка, прежде чем купить букетик, долго поглядывала на мальчика, на старую, рваную, на веревочных ручках брезентовую сумку с цветами. Покупая, сказала, ни к кому не обращаясь: «Эвакуированный... Не от хорошей жизни...» — отдала деньги и положила букет к себе в сумку не глядя.

Мальчик остерегался много. Боялся милиции, запрещающей здесь торговать и появляющейся невесте откуда, внезапно Остерегался местных мальчишек и, главное, рыскавшего в толпе местного хулигана, или, как было принято здесь говорить, «державше-

го вверх» рыжего подростка-варяка, по прозвищу Шайк-рыжий, являвшийся на него, за просто может отнять деньги, да еще и «отметелить» ни за что. Боясь встретить, скорее стыдился обидно обзывавших его «куированным», «Маской» делая ударение на его произношение в слове: «Эй ты, Маска!».

Но больше всего боялся и ненавидел мальчик других «покупателей». Их было немного, единицы. Но именно от них существование на земле жизнь становилась унизительной.

Он подошел к толстым незакрывающимся портфелем под мышкой, обрюзгий, с расплывшимся в разные стороны брюхом под военного образца цвета «хаки» с наглядными карманами френчем (кителем), долго копался в сумке, переворачивал, перебрал все букетики: «Дрянь какую-то продаешь... Цветы! Это разве цветы... Это в поле трав сорная, а ты за цветы продаешь... А в милицию, хочешь, отвел!».

Вокруг начала собираться толпа: «Что, жулика, вора поймай!».

В такие минуты мальчику становилось не по себе. Он бледнел и от стыда не находил слов для защиты, лишь только винил себя, что он здесь. И пусть маме сердится и плачет, он никогда больше не пойдет продавать ни сюда, к кино, ни на рынок. Лучше голодать. Сестренка жаль. А мама говорит: «Плохо ли? Натерговал — кило картошки купить можно...» А этот, с пазом, все говорил: «Сейчас продавай, потом лезть по карманам, воровать...» И вдруг случилось неожиданное. К толстоному «френчу» подскочила девушка. Какой же она была маленькая, слабой против него. Она вырвала из рук его цветы: «Вы старательный... Вы гадкий. Зачем вы покупаете цветы, что вам нужно в них, что вы понимаете!... Зачем вы обидели мальчишку! Он не такой... Он не такой!.. И, расклавшись, сунув мальчику цветы в руки, убежала. Окружавшие молча смотрели на происшествие. Кто-то в толпе сказал: «Верно, сестра».

Мальчик подобрал упавшие букетики в сумку и пошел прочь. Люди расступались перед ним, давая дорогу, молчали, лишь парень в кирзовых сапогах подошел к толстоному, бросил: «Обидел пацана... Морда... по хребту тебе тебя...».

Мальчика поразили ее слезы. Да, ему было стыдно, но еще больше обидно, хоть заплачь. Но... заплакала она. Заплакать от обиды должен был он, а заплакала она.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖИЗНЬ ВЫСОКИЕ СОСНЫ СЕРЕБРЯНОГО БОРА (О РОДИТЕЛЯХ)

Аресты происходили главным образом по ночам. С наступлением темноты не зажи-

гали свет, крепко запирали заперы, как будто это могло оберечь от напасти. Рано ложились спать. Укладывали детей, а сами взрослые подолгу не могли заснуть, обсуждая последние новости, кого взяли, кого возьмут и за что. А если и засыпали в тревожном полусне, то мгновенно просыпались от шума подъехавшей машины и резко отворяемой двери. Вскрикивали, устремились к окнам и сквозь плотные зашторенные шторы в шель наблюдали за кем. Кто следующий? Со страхом прислушивались у входной двери к шагам на лестнице. К кому? В какую квартиру? За кем пришли? И в затихавшей ночи в отдельных окнах дома загорался свет — вестник беды для одних и знак справедливости для других, околпаченных — «еще одного врага народа взяли!». И, пожалуй, таких было больше, ибо пропаганда делала свое дело: «Кругом шпионы, кругом вредители, кругом враги, но Ежов им покажет!».

За ним пришли ночью, уже ближе к утру, когда тусклый, еле заметный рассвет еще только начал обозначаться на небе. Она услышала этот стук на наружную дверь, но поняла, что за ним пришли еще до того, как услышала. Она не спала, а напряженно прислушивалась в ночную тишину. И вдруг ей послышался там, среди однообразного шума рассказывающих сосен, звук приближающегося, работающего мотора и тотчас по стенам сошел и по окнам, даки пробжал свет от фар, появившегося автомобиля. Она ждала: быть может, это не к ним. Но равномерный звук мотора прекратился там, где-то у ворот их дачи. Татьяна Федоровна еще какое-то время лежала в постели не в состоянии приподняться. Затем подошла к окну, и сверху ей было видно, как по дорожке к даче направились, четко чеканя шаг, четыре фигуры в военной форме. Ей надо было предупредить, разбудить Павла, но она еще медлила, неизвестно, что да наделяла. И только когда в дверь настойчиво постучали, она подошла к кабинету мужа, и по тому, как зажглась яркая полоска света под дверью, она поняла, что он тоже не спал. Когда она вошла, он уже был одет, даже в галстук, и выглядел, как всегда, аккуратно, подтянуто в чистой белой рубашке с галстуком, в трюковом жилете. Надевая пиджак, он утвердительно бросил жене: «Пришли за мной. И, почем-то пододвигая к печатной машинке, пробжал глазами напечатанное, перевел ретреть и допечатал фразу, глядя на лежащую рядом на столе рукопись. Он удивленно глядела на него. В нем не было сколь-нибудь какого-то страха, беспокойства. Он только с сожалением сказал ей: «Так и не успел допечатать главу Иди отрой. Я сейчас подожду. Да собери еще смену белья. Достань мою старую шинель. В пальто мне вряд ли

теперь будет удобно». Они, пришедшие, были сдержанны, вежливы. Пока делали обыск, Павел Николаевич сидел на стуле в кабинете, молча сложив руки на груди, наблюдая, как открывали шкафы, ящики письменного стола, ворошили рукописи, перелистывали книги. Командовал, распоряжался невысокий с крепко вставленной в прямые плечи лысеющей головой, непомерно большим лбом, в который были глубоко впрятаны небольшие внимательные глаза. Он был в шинели, как все, но без знаков различия и вел себя корректно, подчеркнуто-вежливо. Ему во всем подчинялись, и можно было понять, что это не радовая птица. Стоя у стола, он прочитывал, пробегал глазами рукописи и изредка поглядывал на сидящего профессора, аккуратно складывая листки один к другому. Иногда он задавал вопросы по ходу чтения, не понимая тот или иной термин или латинское обозначение. За обыском он не следил, видимо, считая это пустой формальностью. Закончив просматривать рукописи, он пожелал, что книга недописана, но, убирая рукопись в сумку, произнес: «Вы могли бы ее еще закончить. У вас будет такая возможность. Но... он подумал, пристально взглянув на профессора, и сказал: — но это будет зависеть от вас, профессор, как вы будете вести себя». Татьяна Федоровна слышала эту фразу. И ей вдруг представилось, что это еще не конец, что есть еще надежда, что Павел еще может вернуться. Возможна ошибка. Возможна клевета. И там разберутся. Там разберутся.

Когда Павла уводили, она стояла посреди комнаты в окружении детей, смотрящих на происходящее, как на игру в «белые и красные», вот только было непонятно для них, кто же здесь «белые», а кто же «красные». Стоили, молча прижавшись к матери. И уже в дверях он обернулся ко всем и, обращаясь к Т. Ф., громко сказал, поднимая шляпу и крепко сжав ее в кулаке: «Мать, ты знаешь, я ни в чем

звоните. А я вас помню». Конечно, я телефоном воспользоваться не решился. И опять шли годы, пока в середине 70-х встреча в мастерских художников на улице Воровского не дала мне возможность разглядеть ее, Беллу Ахмадулину, приставиться и понять, что это редкое на нашей земле растение, и цветение его делает наполненной жизнь окружающих ее людей.

Писал по памяти, рисовал по памяти. Возникли, передо мной вечера поэзии, концерты, выступления. Звучал ее нутряной голос, как вскрик, как мольба, как молитва:

Когда товарищей моих
Молю тебя...
Зажмурив глаза, обраща-
лась она к дождю, как бы пре-
следующему ее:

Дождь, как крыло, прирос
Его корила я
Стыдись, негодник!
К тебе в слезах зову
огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне!

Начал писать маслом. Голова, как при чтении стиха, поднята и запрокинута. В рост, в концертном платье. Попалась в мастерской посмертная маска Пушкина. Да еще в проем окна была видна у Никитских ворот церковь Вознесения, где венчался великий поэт.

Уже к тому времени в колорит моей живописи твердо вошел черный цвет — как основа. Черный и белый — это мои цвета.

«Живопищи!» — усмехнется истинный сезаннист, подмосковный импрессионист, настоящий живописец-масловец. — Это графика, графика это. Ты цветом, цветом поработай! Но я по-другому не воспринимаю и не вижу. Делаю по-своему.

Работал напряженно, взахлеб. Карта, как говорится, шла в масть. По природе я — жаворонок. Начинаю работать с утренней зарей. С нетерпением дожидаясь рассвета, бежал в мастерскую, боялся разоча-

по росту свитер. Тихо села, начала читать новые стихи.

У меня сидели друзья. Все, затая дыхание, слушали и смотрели на это чудо, на это прекрасное видение. А я взял простой свинцовый карандаш «и» и начал на листе бумаги чертить, черкать. Никто за мной не наблюдал, а сама Белла не видела этого, читала вдохновенно, просто. Из проема в соседнее помещение мастерской глядел на нас почти законченный портрет Тютчева, как будто смотрел Федор Иванович Тютчев на поэту, на ее волнение, страсть, и из сумерек слышалось мне:

Есть целый мир в душе
твоей...

Так возник новый вариант соединения Тютчева Ахмадулиной. Опять работало сплору, опять взахлеб. Скорее, скорее, не дать уйти идее, не упустить, не затуманить, возникшее! Опять как можно раньше в мастерскую, без оглядки на улице и в метро, и не думать ни о чем другом. Прилетела птица — жди!

В середине работы почувствовал — удача! Но размер маловат, ограничен. Требуется больше пространства, среды. Но надо не упустить главного, уже найденного, и перенести на новый холст все состояние в целостности. И опять трепет, и опять боязнь, что так уже второй раз не получится. Да это уж точно! Теперь надо ждать, ждать, как у Превера в стихотворении «Как нарисовать птицу».

Почти целый день в мастерской не работало. Ругал себя за это, что и время есть, и ничто не отвлекает, и не надо спешить на совещание, в союз на секретариат. А все равно не работается. Тогда решил раму мастерской. Наткнулся на большой кусок оргалита. Подумал: пожалуй, этот почти квадрат подойдет под «Беллу», и мысленно обозначил, что где будет. И вдруг — пошло! Скорее бросил раму, столки с ацетатной темперой придивнул, краски из тюбика лихорадочно надавил. Только



не виноват». Так она его и запомнила, как видела в последний раз: полуобернувшись в дверном проеме, в шинели с большим академическим портфелем, с поднятой рукой, сжимавшей шляпу в кулаке.

Это случилось в конце августа 1937 года.

Белла АХМАДУЛИНА

Первая встреча с Беллой Ахмадулиной надолго оставила в памяти ощущение чистого, хрупкого, возвышенного, необычно нежного явления. Встреча произошла в середине 60-х годов на даче в Пахре у доброго к молодежи человека — поэта Павла Антокольского. Потом были долгие годы уважения, преклонения издалека.

Павла, на одном из вечеров поэзии в Союзе художников на Гоголевском нежданно к себе самого подошел к Белле Ахмадулиной, напомнил о встрече у Антокольского и спросил, нет ли у нее сделанных там фотографий. Белла очень внимательно на меня посмотрела и сказала: «Естественно, да собери еще смену белья. Достань мою старую шинель. В пальто мне вряд ли

рований. Не снимая пальто, устремлялся к мольбертам: состоялось или нет? Как будто состоялось. Теперь скорее вставить в раму, в свою, самодельную. Проходит неделя, другая, время идет, а работа готовая стоит в ряду других. Иногда посматриваешь. Приятным, друзьям, кому доверь, показываешь.

И вдруг зародился микроб сомнения. Разумерность. Начиналось самое страшное — хотелось переписать все заново.

И еще человек уважаемый пришел в мастерскую поглядеть работы — Анатолий Юрьевич Никитин, Эрик Николаевич Дарский, Олег Вуколов. Многие понравились, хвалили. А вот «Беллу» нашли слишком претенциозной. Да и сам что-то подобное уже чувствовал. Другая ушла, а ты остался один со своими сомнениями, сам выбирайся. Так что же, переписать, тут же, сию минуту? Не знаю, как устоял. Через какое-то время началось осмысление портрета по-новому. Да и повод был случайный — приход Беллы, тихой, кроткой, умротворенной. Обыденная одежда, грубоватый, чуть не

темпера не масло! Она быстро сохнет. И делать с одного раза надо, с одного раза. Как будто получалось.

Зашел Торгун Нариманбеков — мой давний, близкий друг. Посмотрел: «Все так оставь, здорово! Получилось, получилось, Оброс! Это — Белла». Утвердил категорично, темпераментно. И хоть вижу много недоделок, уже боюсь трогать, испортить. Правда, Тютчева много раз переделывал, но так и остался не удовлетворен. Все время он, как живой, возникал на картине и не попадал в глубины пространства, мешал Белле. И все же дождался! Когда запоем птица

Но если птица поет —
Это хороший признак.
Признак, что вашей картиной
Можете вы гордиться.

(Жак Превьер).

● Леонид Козлов. Бабочка прилетела (художник Игорь Обросов показывает картины в своей мастерской).

● Игорь Обросов. В. М. Шукшина. Покинутые дома.

● Игорь Обросов. Стихи.